Павел Анненков

Молодость И. С. Тургенева. 1840–1856

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«…Настоящие воспоминания задуманы и создавались вскоре после смерти И. С. Тургенева, последовавшей 3 сентября 1883 г. Этим объясняется форма воспоминаний… В последний раз Анненков виделся с Тургеневым в Париже в начале мая 1883 г. Смерть писателя застала его в Киеве. По-видимому, в это время и возникла у Анненкова мысль написать воспоминание-очерк о Тургеневе за сорок лет, в течение которых он так близко знал писателя. Анненков разобрал имевшуюся в его распоряжении переписку Тургенева, которая должна была составить фактическую основу воспоминаний…»

- Павел Васильевич Анненков
  -
  - I
  - II
  - III
  - Примечания
- notes
  - Сноски
    - 1
  - Комментарии
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20

- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

Павел Васильевич Анненков Молодость И.С. Тургенева. 1840–1856

«Мир праху твоему!» – так обыкновенно кончаются поминальные речи над усопшими, выражая тем пожелания живущих предать забвению все, что могло бы сколько-нибудь затемнить нравственный облик покойника. Но такое трогательное восклицание пригодно только для лиц, никогда не выходивших из толпы; для всех других оно звучит довольно странно, потому что со смертью их тотчас же начинается разбор их деятельности, их заслуг перед обществом и завершается указанием и перечетом тех препон, на какие они могли наткнуться в самом обществе. Только личности низших порядков жизни и представлений могут надеяться на «мир своему праху», но люди, носящие большое имя, должны ожидать, что с их кончиной и загорится критическая буря и возникнет спор, который потребует многих лет для своего разрешения. К удивлению, почти ничего подобного не случилось ни перед похоронами Тургенева, ни после них. Гроб его, засыпанный цветами, пришедшими с разных сторон, торжественно шел до могилы, не встречая помех и протестов. Старая историческая злоба, кой-где еще встречающаяся в обществе, против чествования независимого труда, таланта, знания, притаилась на время. Взамен редко приходилось кому-либо встретить такое согласие передовых людей Европы с русскими воззрениями на поэта, как при оценке его значения и влияния. Для судей всех национальностей это был «сказочник», столь же почетный, как и герой, прославившийся на бранном поле, как дипломат, победивший своих противников, как любой человек, высоко стоящий на ступенях иерархической лестницы. Что же такое нашлось у этого «сказочника», чтобы извратить обыкновенный ход человеческих дел и наградить его, на другой день кончины, единодушными благословениями своих и чужих людей?..

То было произведение совокупного дела художнических его разоблачений, науки жизни, им проповедываемой, и обаяния его личности{1}. Покойный романист наш успел – к половине долгой жизни – привести нравственную природу свою в такое соответствие с благородством писательских своих помыслов и творчества вообще, что они составили вместе один образ, возбуждавший умиление и привязанность образованного мира.

Приведем несколько примеров, ограничиваясь фактами заграничной его жизни. Тотчас же по переводе его рассказа «Живые мощи», Ж. Занд писала ему: «Maitre! Nous devons aller tous a votre ecole» [1]. «Странно и дико, – прибавлял Тургенев, сообщая по секрету этот отзыв знаменитого романиста, – но все-таки приятно выслушать такое мнение». Вообще он никак не соглашался принять титул представителя эпического творчества в Европе, какой немецкие и французские друзья его готовы были предложить ему, и почти разделял мнение «Allgemeine Zeitung» (тогда еще Аугсбургской), которая ядовито и насмешливо говорила о поклонении немцев «московской» эстетике. Успех своих рассказов он постоянно объяснял новостью предметов, им затрогиваемых, и тем, что в них своя и чужестранная публика встретили еще не ожидаемые и не подозреваемые ими начала морали и своеобычной красоты. Скромность его в этом отношении выдержала искушения, перед которыми мог бы потерять голову менее твердый человек. Напрасно большинство знаменитостей европейского мира слали ему одна за другой свои приветы. Карлейль утверждал, что более трогательного рассказа, чем «Муму», ему еще не приходилось читать; старый Гизо выразил желание познакомиться с автором «Дневника лишнего человека» – психического этюда, по его мнению, раскрывающего неведомые глубины человеческой души; молодой и торжествующий тогда Гамбетта приглашал его на парламентские завтраки и толковал о делах родины своего гостя. Известно, что Тэн в своей «Истории революции» сослался однажды на те же «Живые мощи» как на образец воспроизведения истины народного понимания жизни; не менее известно также и то, что Ламартин при описании своей встречи с Тургеневым достиг такого пафоса, который близко стоял к комизму. Не говорим уже об отзывах прямых друзей нашего поэта – Флобера, Додэ, Зола, Мопассана и Ренана: они знакомы русской публике. Ничто не могло поколебать убеждения Тургенева в скромной роли, какая выпала на его долю в отечестве, даже и тогда, когда немецкий критик Юлиан Шмидт, разбирая «Дым», вопрошал его автора: «Чем же вы объясните после вашего пессимизма политическое величие своей родины и появление в ней таких людей, как Пушкин и вы сами?» Его не сбило с толку даже и нарождение в Германии идеалистов, вроде благородного Пича (Pietsch), недавнего переводчика комедии «Нахлебник», который сделал задачей своей жизни распространение его произведений в своем отечестве и извещал Тургенева всякий раз, как приобретал для него нового надежного поклонника или новую поклонницу. Осторожность нашего романиста поистине была очень ценного

свойства, если вспомнить еще, что мы не перечислили и десятой доли тех оваций, которых он служил предметом за границей.

Между тем И. С. Тургенев подвигался к величавому спокойствию старости и занял видное место перед тремя мирами – романским, германским и русским, которых знал одинаково хорошо, – тоже очень осторожно, как бы ожидая всегда протеста против самоуправства. Прежде чем утвердиться на своем посту, ему необходимо было покончить почти со всеми чертами молодости, отделаться от множества привычек, полученных в начале своей карьеры, найти другой способ сноситься с людьми, чем тот, которому он следовал доселе. Молодость Тургенева была далеко не бурная, но распущенная, и постепенное собирание ее, приведение в порядок и в подчиненные отношения к какому-либо правилу жизни составляет поучительную историю, которую мы и собираемся напомнить здесь читателям.

I

За два года до его приезда из первого путешествия за границу (1840 год) с целью образования – о нем были уже слухи в Москве и Петербурге{2}. Знали, что он находился при отъезде своем в 1838 году на том самом пароходе, который сгорел у мекленбургских берегов, что он вместе с другими искал спасения на лодках, перевозивших пассажиров на малогостеприимную землю этой германской окраины. Рассказывали тогда, со слов свидетелей общего бедствия, что он потерял голову от страха, волновался через меру на пароходе, взывал к любимой матери и извещал товарищей несчастия, что он богатый сын вдовы, хотя их было двое у нее, и должен быть для нее сохранен. Слухам этим верили, так как он был крайне молод в то время (двадцати лет). Даже и позднее Грановский, заставший его в Берлине, рассказывал еще, что он находил его с приставленным к нему крепостным дядькой за очень невинным занятием – игрой в карточные солдатики, которых они поочередно опрокидывали друг у друга. При появлении его в России ожидали встретить доморощенного барчонка, по которому немецкое образование прошло, обделав его наружно и не тронув внутреннего содержания, и нашли полного студента-бурша, замечательно развитого, но с презрением к окружающему миру, с заносчивым словом и романтическим преувеличением кой-каких ощущений и малого своего опыта. Люди Москвы и Петербурга должны были привыкать к нему, и отзывы их поражают на первых порах печальным единодушием. Образец гуманности, Николай Владимирович Станкевич, хорошо знавший Тургенева в Берлине, предостерегал своих приятелей в Москве не судить о нем по первому впечатлению. Он соглашался, что Тургенев неловок, мешковат физически и психически, часто досаден, но он подметил в нем признаки ума и даровитости, которые способны обновлять людей. Герцен был проще, неумолимее и несправедливее. Он познакомился с ним в Петербурге (1840), перед второй ссылкой своей и через посредство Белинского. Отзыв его может *быть* выражен в немногих словах: пускай, мол, Белинский занимается книгами и книжонками и не вмешивается в опенку людей – тут он ничего не смыслит{3}. Дело в том, что и к Герцену, как ко всем другим, Тургенев явился с непомерным доверием к самому себе, которое позволяло ему высказывать в виде несомненных истин всякие измышления, приходящие в голову. Качество это заслоняло покамест все таившееся в глубине его души и составлявшее впоследствии прелесть его бесед с

окружающими.

Удивительно, что он только малой частию был виноват в упреках, которые ему делали. Богато наделенный природою даром фантазии, воображения, вымысла, он по молодости лет не умел с ними справиться и позволил им сделаться своими врагами, вместо того чтобы держать их в качестве своих слуг. Едва возникали в течение разговора представление или образ, как можно было видеть Тургенева, предъявляющего на них права хозяина, овладевающего ими, становящегося в центре рассказа и притягивающего все его нити к самому себе. При первом намеке на какую-либо тему в уме его возникала масса аналогических примеров, которыми он и подменивал главный возникший вопрос. Большая часть его слушателей – а у него их всегда было много – позабывали дело, с которого начиналась речь, и отдавались удовольствию слушать волшебную сказку, любоваться развитием непродуманного, бессознательного творчества, удерживая при этом наиболее смелые, яркие и поразительные черты фантастической работы. Было что-то наивно-детское, ребячески-прелестное в образе человека, так полно отдававшего себя в ежедневное безусловное обладание мечты и выдумки, но в конце концов из такого воззрения на Тургенева возникло общее мнение о нем как о человеке, никогда не имеющем в своем распоряжении искреннего слова и чувства и делающегося занимательным и интересным только с той минуты, когда выходит заведомо из истины и реального мира. Никто, конечно, не смешивал его с Хлестаковым, простейшим типом лжи, только что созданным тогда, который употребляет ложь как средство обмануть себя и других относительно своей ничтожности. Поэтическая ложь Тургенева обнаруживала большие сведения и часто касалась таких вопросов, которые были даже неизвестны многим из ожесточенных его критиков. Цели юного Тургенева были ясны: они имели в виду произведение *литературного эффекта* и достижение репутации *оригинальности.* В этом заключается и ключ к их правильному пониманию.

Самым позорным состоянием, в какое может попасть смертный, считал он в то время то состояние, когда человек походит на других. Он спасался от этой *страшной* участи, навязывая себе невозможные качества и особенности, даже пороки, лишь бы только они способствовали к его отличию от окружающих. Он усвоивал своей физиономии черты, не вязавшиеся с ее добродушным, почти нежным выражением. Конечно, он никого не обманывал надолго, да и сам позабывал скоро черты, которые себе приписывал. Случалось, что он изумлялся собственным словам и относил их к клевете, когда их

повторяли перед ним по прошествии некоторого времени. Так он называл клеветой свое заявление, будто перед великими произведениями искусства, живописи, скульптуры, музыки он чувствует зуд под коленами и ощущает, как икры его ног обращаются в треугольники, – однако же заявление было сделано. Конечно, не стоило бы и упоминать об этой шутке, если бы из массы подобных шуток и преувеличений не слагался в публике образ молодого Тургенева, который держался гораздо долее, чем было нужно, и существовал даже и тогда, когда оригинал уже нисколько не походил на то, что о нем думали.

Замечательно, что в произведениях той эпохи, большею частию стихотворных отрывках, Тургенев не обнаруживал ни малейших признаков фальши. Они писались им добросовестно и поражают доселе выражением искреннего чувства и той внутренней правдой мысли и ощущения, которой он научился у Пушкина. Тургенев начал рано свою писательскую карьеру; если не считать драму «Стено», написанную им еще на студенческой скамье (он кончил курс в Петербургском университете в 1837 году) и рецензию на книгу А.Н. Муравьева «Путешествие по святым местам русским», в старом «Современнике» Плетнева, 1838 года[4], где напечатано было и первое стихотворное его произведение «Старый дуб», то придется указать на «Отечественные записки», на страницах которых с 1841 по 1846 год помещено множество его стихотворных пьес за подписью Т. Л., которые представляли инициалы соединенных фамилий его отца и матери – Тургенев-Лутовинов[5]. Затем он перешел в новый «Современник» Панаева и Некрасова, в издании которого принимал, как увидим, горячее участие и продолжал в нем печатать свои стихотворения с 1847 года вплоть до 1850 года[6]. Все эти произведения носят несомненные признаки таланта и уже возвещали недюжинного писателя, который только ждал благоприятной минуты, чтобы высказать все свое содержание. Минута не заставила себя ждать. Из всех ранних его созданий замечены были публикой только два, вышедшие отдельно: «Параша», стихотворная повесть 1843 года, и «Разговор» – тоже в стихах, 1845 года. Мастерской рассказ далеко не затейливого происшествия в «Параше» и свободное, ироническое отношение к действующим ее лицам имели так много свежести и молодого здорового чувства, что обратили на себя общее внимание. Между прочим, «Параша» представила случай Белинскому высказать свою проницательность. «Что мне за дело до промахов и излишеств Тургенева, – говаривал он, – Тургенев написал «Парашу»: пустые люди таких вещей не пишут»[7]. Что касается до «Разговора», то дидактический, поучительный тон его

подсказан был Тургеневу учением, которому он служил тогда горячим, хотя и не очень последовательным адептом, будто чистое творчество достигло с Пушкиным такого совершенства на Руси и такого повсеместного распространения, что ему предстоит потесниться немного и дать дорогу произведениям мыслящей способности, философско-политического созерцания{8}. Тема встретила, однако же, горячую оппозицию в московской журналистике, но начавшаяся полемика прекратилась, когда через два года по напечатании «Разговора» явилась первая глава из «Записок охотника» («Хорь и Калиныч») в «Современнике» Панаева 1847 года и показала писателя нашего опять в новом свете, упрочив за ним почетное и славное имя в литературе, которое уже не могло быть забрасываемо грязью при помощи слухов или под предлогом критики{9}.

Во всяком случае Тургенев нуждался тогда в литературе, почерпая в ней средства для своего существования. С самого начала сороковых годов он уже находился в ссоре с своей матерью, богатой и капризной помещицей Орловской губернии, которая, лишив содержания, предоставила его самому себе. Вплоть до конца его искуса, когда умерла мать (Варвара Петровна Тургенева скончалась в ноябре 1850 года), Тургенев представлял из себя какое-то подобие гордого нищего, хотя и сознававшегося в затруднительности своего положения, но никогда не показывавшего приятелям границ, до которых доходили его лишения. Гонимый нуждою и исполняя настоятельные требования матери, он по прибытии в Россию определился на службу в канцелярию министра внутренних дел{10}, где попал под начальство известного этнографа В. Даля. Он пробыл тут не долго, потому что начальник его принадлежал к числу *прямолинейных* особ, которые требуют строгой аккуратности в исполнении обязанностей и уважения не только к своим служебным требованиям, но и к своим капризам… Тургенев невзлюбил начальника – собрата по ремеслу писателя – и скоро вышел в отставку, возвращаясь к старой скудости и к старому исканию эффектов и оригинальности. Чего он тогда не приносил в жертву этому Молоху? Он осмеивал тихие и искренние привязанности, к которым иногда сам приходил искать отдыха и успокоения, глумился над простыми сердечными верованиями, начало и развитие которых, однако же, тщательно разыскивал, примеривал к себе множество ролей и покидал их с отвращением, убедясь, что они казались всем не делом, а *гениальничанием* и скоро забывались. К этому же времени относится и его сближение с семьей артистки Виардо, – он был ей представлен в 1845 году и нашел у нее сына директора театров, Степана Гедеонова, который

по музыкальному и художественному вообще образованию и по серьезной эрудиции был достойный ему соперник. Может статься, чувство соперничества определило и довольно резкий тон критической статьи, написанной Тургеневым в 1846 году по поводу драмы С. Гедеонова «Смерть Ляпунова»[{11}]. Но у него были еще в запасе и даровые, беспричинные, совсем не преднамеренные оскорбления, такие, какие может наносить шутя только *всемирный ребенок,* Weltkind, не обязанный помнить свои обязательства и заниматься тем, что говорит. Он часто ходил тогда на охоту, и раз, возвратившись с отъезжего поля, хвалился количеством побитой им птицы, а в подтверждение своих слов приглашал слушателей отобедать у него на другой день. Слушатели поверили и чудной охоте и приглашению. На другой день они поднялись в четвертый этаж громадного дома на Стремянной улице, где жил Тургенев (между ними были и грудные больные, с трудом одолевшие его лестницу), и долго стояли перед запертой дверью его квартиры, – до тех пор, пока вышедший человек не известил их как об отсутствии хозяина, так и всяких приготовлений к приему гостей. Тургенев долго смеялся потом, когда ему рассказывали о недоумении и ропоте обманутых гостей, но извинений никому не приносил: все это казалось ему в порядке вещей, и он удерживал за собой право играть доверием людей, не чувствуя, по-видимому, никакой вины на своей совести за проделки подобного рода. Он даже не очень долюбливал тех осторожных господ, которые защищали себя от увлекательности его речи, не доверяли наивному убеждению, с каким он относился к своим иллюзиям, и трезво берегли до конца свое суждение. Он называл их кожаными чемоданами, набитыми сеном, но, однако, сдерживал перед ними свои увлечения. Особенный зуб имел он против существовавших у нас литературных кружков и выразил даже в печати свое осуждение их нетерпимости друг к другу и узкости их воззрений. Но причины его негодования на кружки, с корифеями которых он был на дружеской ноге, а с одним из таких кружков (так называемым западническим) разделял и тогда и после основы его учения, следует также искать и в личных отношениях. Кружки эти имели свои правила поведения, свои доктрины жизни, более или менее строгие, за исполнением которых тщательно следили[{12}]. Нападая на кружки, Тургенев защищал еще свое право стоять особняком от господствующих течений в обществе, не подчиняться деспотизму принятых условий существования ни в каком их виде и оградить себя от разного вмешательства посторонней силы в дела своей души, в свободное, независимое цветение своей мысли и фантазии.

II

То же самое делал он и по отношению к своей матери. Замечательно, что настоящие и лучшие качества сердца обнаруживались у него с наибольшей силой в деревне или в семье. Всякий раз, как он отрывался от Петербурга, от его искушений и того возбуждающего чувства, которое распространяет большой центр населения, Тургенев успокоивался. Не перед кем было блестеть тогда, не для кого было изобретать сцены и думать о театральной постановке их. Деревня играла в его жизни ту самую роль, которую потом исполняли частые его отлучки за границу, – она с точностью определяла, что он должен думать и делать. Питая врожденное отвращение к насилию, получив от природы ненависть к попранию человеческих прав, которое тогда встречалось чуть ли не ежедневно, Тургенев мстил господству крепостничества в нравах и понятиях тем, что объявлял себя противником, без разбора, всех коренных, так называемых, основ русского быта. Он потешался благоговейными отношениями Москвы к некоторым излюбленным quasi-началам русской истории, но такой дальний, бесполезный протест был уже не у места в помещичьей деревне. Тут он беспрестанно наталкивался на конкретные случаи произвола и беззакония, которые затрогивали его душу и требовали, если не скорой помощи, часто и невозможной, то участия и понимания страданий.

Варвара Петровна Тургенева, мать его, обладала в одной Орловской губернии состоянием, равным, по тогдашнему счету, силе 5000 душ крепостных работников. Это была женщина далеко недюжинная и по-своему образованная: она говорила большею частью и вела свой дневник по-французски. Воспитание, которое она дала обоим сыновьям, показывает, что она понимала цену образования, но понимала очень своеобразно. Ей казалось, что знакомство с литературами Европы и сближение с передовыми людьми всех стран не может изменить коренных понятий русского дворянина, и притом таких, какие господствовали в ее семействе из рода в род. Она изумилась, увидав разрушение, произведенное университетским образованием в одном из ее сыновей, который полагал за честь и долг отрицание именно тех коренных начал, какие казались ей непоколебимыми. При врожденном властолюбии вспыльчивость и быстрота решений развились у нее от противоречий. Она не могла простить своим детям, что они не обменивали полученного ими воспитания на успехи в обществе, на служебные отличия, на житейские выгоды

разных видов, в чем тогда и заключались для многих цели образования. Так как наш Тургенев не изменял ни своего образа мыслей, ни своего поведения в угоду ей, то между ними воцарился непримиримый, сознательный, постоянный разлад, чему еще способствовали и подробности ее управления имением. Как женщина развитая, она не унижалась до личных расправ, но подверженная гонениям и оскорблениям в молодости, озлобившим ее характер, она была совсем не прочь от домашних радикальных мер исправления непокорных или нелюбимых ею подвластных. Сама она, по изобретательности и дальновидному расчету злобы, была гораздо опаснее, чем ненавидимые фавориты ее, исполнявшие ее повеления. Никто не мог равняться с нею в искусстве оскорблять, унижать, сделать несчастным человека, сохраняя приличие, спокойствие и свое достоинство. Она не затруднилась произнести смертный приговор несчастной собачонке своего дворника Герасима, зная, что приговором своим наносит смертельную рану сердцу ее хозяина. И что же? Одно появление Тургенева в деревне водворяло тишину, вселяло уверенность в наступлении спокойной годины существования, облегчало всем жизнь – и это несмотря на его натянутые отношения к матери и в силу только нравственного его влияния, которому подчинялась даже и необузданная, уверенная в себе власть. Приводим здесь в подтверждение наших слов выдержки из письма В. Н. Житовой, которая воспитывалась в доме Тургеневой и видела с малолетства все, что происходило в нем. Свидетельство ее тем ценнее, что написано с одушевлением, которое дает отчасти понятие о впечатлении, порождаемом каждым наездом нашего поэта в деревню или в московский дом между их обитателями.

«Как себя помню, так помню свое и всеобщее, в доме матери, обожание к нему. Редко он бывал у нас; но когда его ждали, все крестились, все радовались: «Наш ангел едет! Теперь у нас все будет хорошо, теперь *ничего* не будет!» Вот что слышалось со всех сторон. И действительно, велика была сила его кротости и доброты. Она все побеждала, все укрощала… Около него ничто лживое и злое не имело места. Настолько обаятелен он был, настолько сам хорош, что его нравственная, так сказать, красота разливалась на все окружающее его. Да, его доброты боялись! Читала я отзыв Рольстона о «Муму». Не то бы я сказала. Я воочию присутствовала при всей этой драме, я была единственная, допущенная в каморку Герасима, я ласкала, я кормила Муму, когда мне удавалось ускользнуть от зорких глаз приставленных ко мне француженок и англичанок, – и часто, очень часто дитятей прогуливалась на могучих руках Герасима… Я 18 лет даю уроки.

Проходя историю русской литературы с моими ученицами, я сама читаю образцовые сочинения. Могу читать самые драматические места, но последних страниц «Муму» никогда не могла дочитать громко: меня всегда душили слезы. И прежде и теперь последовательно затем мысли переносятся к тому нашему освободителю, который дал нам 19 февраля и избавил навеки нашу родину от того гнета, при котором наш простолюдин не смел ни любить, ни чувствовать…» Октябрь 1883{13}.

Красноречивые строки хорошо передают то, чем сделался Тургенев для своего села Спасского, доставшегося ему по наследству и после раздела с братом; но уже недалеко было время, когда он сделается любимцем не только своих спасовцев, как называл жителей деревни, но и любимцем читающей России вообще и русских женщин в особенности. Произошло это вскоре после кончины Варвары Петровны Тургеневой и после известного его ареста в 1852 году, сообщившего большую популярность его имени. Круг его знакомства еще не раздвигался до тех огромных размеров, как впоследствии, и литературная деятельность еще не имела за себя голоса всей Европы. На виду стояли «Записки охотника», а за ними теплились малыми, мелькающими огоньками повести, где уже сказывались первые проблески воззрений Тургенева на русскую женщину как на представительницу нравственной силы в обществе. Гораздо позднее заметили, что между этими повестями есть маленькие шедевры, вроде «Дневника лишнего человека». Современникам его трудно было усмотреть также, что он в течение десяти лет занимался обработкой одного и того же типа – благородного, но неумелого человека, начиная с 1846 года, когда написаны были «Три портрета», и вплоть до «Рудина», появившегося в 1856 году, где самый образ такого человека нашел полное свое воплощение{14}. С Рудиным кончается и молодость Ивана Сергеевича – ему было уже 38 лет. Никому и в голову не приходило тогда заниматься разбором теории, весьма важной в биографическом отношении и в силу которой русская жизнь распадалась на два элемента – мужественную, очаровательную по любви и простоте женщину и очень развитого, но запутанного и слабого по природе своей мужчину. В авторе этой теории всего более интересовало мастерство кисти, приемы творчества, верные картины жизни, а разоблачающий внутренний смысл его творений закрывался для многих яркой мозаикой внешних его похождений между людьми.

Тогда было в моде некоторого рода предательство, состоявшее в том, что за глаза выставлялись карикатурные изображения привычек людей и способов их выражаться, что

возбуждало смех и доставляло успех рассказу. Тургенев был большой мастер на такого рода представления. Никто не сердился на это злоупотребление, никто не думал о прекращении связей вследствие дошедших слухов о совершенной над ним диффамации – напротив, все старались платить тою же монетой авторам карикатур, что и объясняет большое количество анекдотов, остающихся от этой эпохи. Надо прибавить, что ко всем своим качествам изобретательности, наблюдательности и вдумчивости в явления Тургенев присоединял еще в значительной доле едкое остроумие и эпиграмматическую способность. Он давал им ход с той же неразборчивостью и с тем же обилием мотивов, как и всему, что выходило от него. Он составлял весьма забавные эпиграммы на выдающихся людей своего времени, не стесняясь их репутацией и серьезностью задач, которые они преследовали и которым сам сочувствовал{15}. Не удерживали его и дружеские отношения. Все это, конечно, не способствовало к уменьшению неблагосклонного говора, раздававшегося вокруг его имени, но слух о меткости его эпиграмматических заметок, имевших пошиб народных поговорок, был так распространен, что В. П. Боткин вздумал однажды записывать его речи и привел свой план в исполнение. Затерянная книжка эта где-нибудь должна существовать, но она утратила свой интерес после того, как сам Тургенев прекратил свою юмористическую деятельность и оставил в сыром виде старые попытки и проявления ее.

Весьма ошибся бы тот, кто на основании здесь сказанного пришел бы к заключению, что Тургенев обманывал свою публику и, пока она приглядывалась к нему, отдавал пороки ее и недостатки на общее посмеяние. Такое коварство не вязалось с добротой сердца, отражавшейся на всем, что он делал, и с его недоверием к себе, с весьма невысоким мнением о своих качествах и способностях. Он нуждался в помощи и благорасположении, а не в вызове и посрамлении кого-либо. Только с течением времени и возрастанием успеха приобретает он более правдивый, твердый, уверенный взгляд на самого себя. Вначале он брался за все с намерением ото всего отступиться, смотря по обстоятельствам. Если он силился походить на Манфреда или Дон-Жуана, то, конечно, это был застенчивый Манфред или стыдливый Дон-Жуан, готовый всегда убежать от затеянного им дела. Его сравнивали с Ювеналом в некоторых случаях его жизни, особенно за памфлетическую сторону таланта, как в «Дыме», например; но если присмотреться ближе, то легко можно распознать, что он не питал никакого отвращения к жертвам своих сатир, а биографические сведения показывают, что

ядовитое жало свое он обращал прежде всего на самого себя. Довольно упомянуть о той жажде осуждения, критики своих произведений, которой он страдал всю свою молодость и которая обратилась у него почти в болезнь. Он радовался всякому разбору своих произведений, выслушивал его с покорностью школьника, обнаруживая и готовность исправления. Одного замечания о неуместности сравнения Хоря и Калиныча с Гете и Шиллером, допущенного им, достаточно было, чтобы сравнение осталось только на страницах «Современника» 1847, где впервые явилось, и не перешло в следующие издания. Вообще говоря, нельзя было никогда угадать, куда увлечет его голова, работающая в различных направлениях, но можно было указать, зная его прямое сердце, место, где он остановится. Было что-то женственное в этом сочетании решимости и осторожности, смелости и расчета, одновременной готовности на почин и на раскаяние, сообщавшее прелесть его меняющемуся существованию.

Никто не замечал меланхолического оттенка в жизни Тургенева, а между тем он был несчастным человеком в собственных глазах: ему недоставало женской любви и привязанности, которых он искал с ранних пор. Недаром повторял он замечание, что общество мужчин, без присутствия доброй и умной женщины, походит на тяжелый обоз с немазанными колесами, который раздирает уши нестерпимым, однообразным своим скрипом. Призыв и поиски идеальной женщины помогли ему создать тот Олимп, который он населил благороднейшими женскими существами, великими в своей простоте и в своих стремлениях. Пока требовательная критика разбирала, после Рудина, человека с большими претензиями и ничтожной волей, перенося на все поколение сороковых годов презрение, которое возбуждал в ней этот тип, Тургенев уже сделался идолом прекрасной половины человеческого рода. Любовь эта сопровождала его до могилы, но то была любовь платоническая. Сам он страдал сознанием, что не может победить женской души и управлять ею: он мог только измучить ее. Для торжества при столкновениях страсти ему недоставало наглости, безумства, ослепления. В одной из чудных повестей своих, «Первая любовь», он рассказывает ужас, наведенный на него ударом хлыста, которым раздраженный любовник отвечал своей возлюбленной, побеждая ее волю и своенравие{16}. С тех пор ужас от дикого поступка, казалось, и не проходил у Тургенева и одолевал его, когда требовалась решимость выбора. Он не отвечал ни на одну из симпатий, которые шли ему навстречу, за исключением разве трогательных связей его с О. Л. Тургеневой в

1854 году, но и она длилась недолго и кончилась, как кончаются минутные вспышки, капризы и причуды, на которые он разменял свирепое одушевление истинной страсти, то есть мирным разрывом и поэтическим воспоминанием о прожитом времени.

Немаловажную роль в его жизни играл другой афоризм, который он тоже любил повторять: «Только с теми людьми и жить можно, которые все видят и понимают – и умеют молчать». Чуткий ко всему, что происходило в обществе, он спускался в отдаленные края его и выводил оттуда людей, замеченных им по серьезности своего образа мыслей и по характеру, рассчитывая на их скромность и привязанность, потому что сочувствие и преданность людей были ему необходимы, как воздух для существования. После 1850 года гостиная его сделалась сборным местом для людей из всех классов общества. Тут встречались герои светских салонов, привлеченные его репутацией возникающего *модного* писателя, корифеи литературы, готовившие себя в вожаков общественного мнения, знаменитые артисты и актрисы, состоявшие под неотразимым эффектом его красивой фигуры и высокого понимания искусства, наконец ученые, приходившие послушать умные разговоры светских людей. Высокопоставленные особы тогда еще не посещали его приемной: это явилось уже с началом нового царствования. Между всеми его гостями не редкость была найти людей без имени, никому не известных и отличавшихся своей сдержанностью. Тургенев дорожил ими столько же по крайней мере, сколько и теми, которые носили громкие имена в литературе и обществе. Беседа его с бойкими и развитыми людьми своего общества не стоила ему большого труда. С его образованием и находчивым умом, с его речью, исполненною того, что французы называют point (искрой), он легко приводил слушателей в восторг. Ввиду потребностей легкой эрудиции, столь необходимой для успеха в обществе, у него был недюжинный запас положительного знания и помощь справочных книг: так, в это время ему служила настольной книгой многотомная «Biographic universelle». В разговоре с отысканными им и выведенными в свет людьми все было, наоборот, просто. Он говорил с ними о том, что они знали и чем интересовались, и внимательно прислушивался к их мнениям, которые нигде более не мог встретить. Он обладал одним замечательным качеством: за ним ничего не пропадало. Он никогда не оставался в долгу ни за какое дело, ни за оказанное расположение, ни за наслаждение, доставленное ему произведением, ни за простую потеху, почерпнутую в той или другой форме. Все это он помнил хорошо и так или иначе, рано или поздно находил случай отыскать и

отблагодарить по-своему человека за интеллектуальную услугу, полученную от него когда-то. Сколько имен просятся под перо в подтверждение факта – имен мужского и женского пола. Конечно, он мог и ошибаться в своих приговорах. Пишущий эти строки случайно натолкнулся на одну из оригинальных сцен в его квартире. Однажды ему довелось прийти к Тургеневу довольно рано утром. В кабинете его сидел критик Аполлон Григорьев, мыслитель и всегдашний энтузиаст, сказавший про Тургенева слово, которое долго оставалось в памяти автора «Дворянского гнезда»: «Вы *ненужный более* продолжатель традиций Пушкина в нашем обществе». Едва А. Григорьев завидел меня в дверях кабинета, как вскочил с дивана, где сидел, и, указывая мне на своего соседа, молодого морского офицера очень скромной и приличной наружности, торжественным и зычным голосом воскликнул:

«На колени! Становитесь на колени! Вы находитесь в присутствии гения!» Молодой офицер был поэт Случевский, никому тогда не известный. Он покраснел и не знал, что делать от смущения. Поднявшийся Тургенев тоже проговорил: «Да, батюшка, это будущий великий писатель»{17}. Пошли расспросы – оказалось, что они только что выслушали произведения Случевского и приведены ими были в восторженное состояние, которое – увы! – не разделили ни критики, ни общественное мнение, когда те же самые произведения предоставлены были их суду. Почетные, смеем сказать, ошибки Тургенева в оценке новых талантов происходили от его горячности служить им и приводили иногда к комическим результатам. Нельзя не рассказать здесь анекдота, слышанного от В. П. Боткина. Известно, что ничто так не возбуждало и не оскорбляло Боткина, как превознесение человека без достаточных оснований. Он уже наслышался о необычайном таланте г. Леонтьева, которого Тургенев провозгласил рассказчиком вне сравнения и ставил далеко выше себя, принижаясь, по обыкновению, без меры для того, чтобы увеличить рост соперника{18}. Достав одно из произведений г. Леонтьева и прочитав его внимательно, Боткин дождался панегириста и с документом в руке, усадив его за стол, требовал, чтобы он показал, где тут сила и гениальность. Разбор его до того был резок и привязчив, что Тургенев не выдержал и убежал в сад, «где и принялся сочинять на меня эпиграмму», прибавлял Боткин. Эпиграмма вышла действительно забавная. Пародируя пушкинского «Анчара», Тургенев предоставил роль *древа яда* самому Боткину, умерщвляющему все живое кругом себя: «Панаев сдуру налетит и, корчась в муках, погибает» и проч. Мы уже не говорим о том, что кошелек Тургенева был открыт для

всех, кто прибегал к нему. Пересчитать людей, материально ему обязанных, почти и невозможно за их многочисленностью. Ему случалось вменять себе в заслугу отказ в помощи слишком назойливому человеку, но были и такие друзья, которые принимали и это заявление за обычное хвастовство его. Денежное пособие было, однако же, низшим видом его благотворительности: он являлся с услугой, когда нужно было поднять дух пациента, разбудить его волю, внушить доверенность к себе. Между прочим, он подарил первое издание «Записок охотника» в 1852 году Н. Х. Кетчеру, которому оно досталось не без труда, потому что сопровождалось увольнением цензора, допустившего книгу в обращение, и вопросом о ее конфискации{19}. Кстати, это напоминает нам, что и администрация и публика одинаково смотрели тогда на сочинение Тургенева как на проповедь освобождения крестьян. Графиня Растопчина (урожденная Сушкова), получив книгу, заметила перед Чаадаевым: «Voila un livre incendiaire». – «Потрудитесь перевести фразу по-русски, – отвечал Чаадаев, – так как мы говорим о русской книге». Оказалось, что в переводе фразы – зажигающая книга – получится нестерпимое преувеличение. Можно думать, что арест Тургенева в том же 1852 году явился наказанием столько же за статью о Гоголе, сколько и за это издание «Записок». Мы знали вельможу, очень образованного и гуманного, немало способствовавшего и облегчению уз нашей печати, который до конца своей жизни думал, что успехом своей книги Тургенев обязан французской манере возбуждения одного сословия против другого. Но весь говор, сопровождавший деятельность Тургенева, не мешал ему идти своей дорогой. Составитель этой статьи сам слышал от почтенного историка нашего Ивана Ег. Забелина, как Тургенев умолял его дать свое согласие на напечатание какого-либо из его трудов. «Нельзя же мне, – говорил тогда Тургенев, – тяготить весь век мой землю без пользы для других: дайте мне возможность сделать что-либо для общества»{20}. Предложение было отклонено, по неимению готового труда, но способ выразить свое сочувствие исследователю отличался оригинальностью. Вообще говоря, нравственная доблесть его превышала все его недостатки, и требовалось много усилий и громадное количество литературных и жизненных неприличий, чтобы из такого человека сделать себе врага и недоброжелателя.

III

Первую поездку за границу, после 1840 года, Тургенев совершил спустя семь лет, провожая семейство Виардо из России в Берлин, в 1847 году{21}, и отправляясь оттуда в Штеттин для встречи больного Белинского, которого привез с собой на Шпре, а затем сопутствовал ему и в Зальцбрунн.

Никто из друзей не догадывался о скудости его средств в это время. Он умел мастерски скрывать свое положение, и никому в голову не могла прийти мысль, что по временам он нуждался в куске хлеба. Развязность его речей, видная роль, которую он всегда предоставлял себе в рассказах, и какая-то кажущаяся, фальшивая расточительность, побуждавшая его не отставать от затейливых похождений и удовольствий и уклоняться незаметно от расплаты и ответственности, отводили глаза. До получения наследства в 1850 году он пробавлялся участием в обычной жизни богатых друзей своих – займами в счет будущих благ, забиранием денег у редакторов под не написанные еще произведения – словом, вел жизнь богемы знатного происхождения, аристократического нищенства, какую вела тогда и вся золотая молодежь Петербурга, начиная с гвардейских офицеров. Впрочем, он никогда не терял надежды сделаться большим барином и однажды, несмотря на свои лишения, обещал Белинскому 100 душ крестьян, как только представится возможность к тому. Белинский принял в шутку подарок. «Жена, – закричал он, – иди благодарить Ивана Сергеевича: он нас помещиками делает». А между тем критик серьезно нуждался в устройстве своей судьбы. За год до отъезда своего в Зальцбрунн, именно, в 1846 году, он разорвал связи с «Отечественными записками» и собирал труды друзей для большого альманаха «Левиафан». Тургенев был из первых, обещавших ему свою лепту, а между тем по лукавству, часто встречаемому в литературных кружках, ему не хотелось конечной гибели органа «Отечественные записки», которую уже им пророчили{22}. Тогда он свел редактора их с В. Майковым. молодым писателем, эстетика которого, построенная на этнографических данных, могла дать своего рода окраску журналу. Майков имел несчастие утонуть, купаясь близ Ропши, но на первых порах успел сохранить за «Отечественными записками» влияние, приобретенное ими при старом критике. Все остальное хорошо известно и много раз повторялось. Сборник статей куплен был у Белинского Панаевым и Некрасовым, которые с помощию его вздумали основать свой собственный журнал, нашли в старом «Современнике» Плетнева

готовый материал для издания и приобрели его… Менее известно, что Тургенев был душой всего плана, устроителем его, за исключением, разумеется, личных особенностей, введенных в него будущими издателями, с которыми делил покамест все перипетии предприятия. Некрасов совещался с ним каждодневно; журнал наполнился его трудами. В одном углу журнала блистал рассказ «Хорь и Калиныч», как путеводная звезда, восходящая на горизонте; в «Критике» явился его пространный разбор драмы Кукольника, и наконец множество его заметок разбросано было в последнем отделе журнала. В одной из них находилась латинская цитата; не доверяя лингвистическим познаниям своего друга, Некрасов испортил ее нарочно в корректуре, чтоб иметь возможность, при случае, свалить вину на типографию, и признался в своей хитрости автору. Дождавшись первой книжки «Современника» на 1847 год, Тургенев выехал за границу.

Удивительный был этот 1846 год{23}. По странной случайности к нему относится единовременное появление замечательных памятников русской литературы. Тогда были кончены и опубликованы: «Обыкновенная история» И. А. Гончарова, «Бедные люди» Ф. М. Достоевского, «Антон Горемыка» Д. В. Григоровича – произведения, открывавшие новые дороги талантам и возвещавшие цветение литературы в скором будущем, не оправданное, однако же, событиями и обстоятельствами, вскоре за тем наступившими…

Я уже с год жил в Париже, когда Иван Сергеевич прибыл в Зальцбрунн с больным Белинским. Я поспешил присоединиться к ним, и мы встретились в этом только что возникавшем тогда месте лечения грудных страданий, как это видно из моей статьи «Замечательное десятилетие», к которой и отсылаем читателя за подробностями. Тургенев писал тогда «Бурмистра» и прилежно учился по-испански. Известно, что он покинул нас с Белинским тайком, выехав из Зальцбрунна под каким-то благовидным предлогом на короткое время, оставив в нем часть белья и платья и уже не возвращаясь более назад. Когда по осени того же года я спрашивал его в Париже о причинах бесполезной хитрости, употребленной им в Зальцбрунне, он только пожал плечами, как бы говоря: «Да и сам не знаю». Дела его были в плохом состоянии: он не мог жить в Париже, поселился в пустом замке, предоставленном ему Жорж Зандом где-то на юге, и наезжал по временам в Париж, обегал своих знакомых и скрывался опять. Перед революцией 1848 года он, однако же, переехал совсем в Париж, занял очень красивую комнату в угловом доме Rue de la Paix и Итальянского бульвара, теперь уже снесенном, и переходил в том же доме то выше, то ниже, смотр я по благоприятным или

неблагоприятным известиям из России. Февральские и июньские дни 1848 года застали его еще в Париже, и при этом нельзя не сказать о замечательной его способности подмечать характерные общественные явления, мелькавшие у него перед глазами, и делать из них картины, выдающие дух и физиономию данного момента с поразительной верностью. Таковы небольшие рассказы его из французской революции, как «Наши послали» и проч., хотя, собственно, сам он не принимал никакого участия в социальном движении знаменитого 1848 года и только говорил о нем{24}.

В октябре я уехал в Россию, оставив Тургенева в Париже, и только через два года снова встретил его на родине. Извещенный о тяжкой болезни своей матери – 1850 год – он явился принять ее последний вздох и помириться с нею перед смертию, но уже не застал ее на свете. По какой-то чужой оплошности он не мог даже поспеть и на похороны ее в Донском монастыре, прибыв в Москву, где она скончалась, в самый день совершения обряда{25}. Всеми подробностями церемонии распоряжался покойный брат его Н. С. Тургенев.

Шесть лет за тем прожил наш поэт безвыездно в России. В эти последние шесть лет его молодости произошло многое и в нем самом и в обстановке его. Мы уже говорили в упомянутой выше статье «Замечательное десятилетие» о внезапном аресте, постигшем его за статью о Гоголе. Замечательно, что сам он отзывался всю жизнь о событии без малейшего признака злобы, без чувства оскорбленной личности, почти равнодушно. Да и были причины на то. Несмотря на суровое начало, арест в дальнейшем своем течении принес ему немало добра, обнаружив общие симпатии к его лицу, дав возможность создать одну крупную вещь – рассказ «Муму» – и, главное, открыв ему, что он и продиктован был без раздражения и ненависти как простая полицейская мера для обуздания и принижения писателей, не раз употреблявшаяся и прежде относительно журналистов и цензоров. Гораздо хуже ареста была последовавшая за ним административная высылка в деревню, без права выезда из нее – во-первых, потому, что она могла продолжаться неопределенное количество лет, а во-вторых, потому, что Тургенев лишался возможности, имея к тому все нужные средства, располагать собою. Стеснение это раздражало его более всего. Мы видели подложный паспорт на имя какого-то мещанина, приобретенный им где-то, и с которым он явился однажды в Москву, к изумлению и ужасу своих приятелей. Не желая, однако ж, рисковать всякий раз дальнейшей своей судьбой, он жаловался в Петербург и получил оттуда совет составить письмо с просьбой об освобождении (прилагался даже и образчик такого официально-

просительного письма, с *признанием своей вины)*. Тургенев последовал этому совету и был возвращен в следующем, 1853 году. Впоследствии, при заключении парижского мира, старый князь Орлов, бывший начальник III отделения в оное время и семейству которого Тургенев имел случай оказать услугу, дружески знакомясь с ним и целуя его в лоб, примолвил: «Кажется, вы не имеете причин сердиться на меня». Действительно, никто не сердился, начиная с потерпевшего, на событие. Разве можно сердиться на установившиеся нравы и обычаи, против которых не слышится и протеста общественной совести?

Накануне постигшей его катастрофы Тургенев сделал еще одно доброе дело. Пользуясь дружескими отношениями с редакторами «Современника», он ввел в круг петербургских литераторов сотрудников журнала «Москвитянин», показав пример терпимости и беспристрастия, довольно редкий в то время. (См. мою статью о А. Ф. Писемском, «Художник и простой человек» в «Вестнике Европы», 1882, апрель)[{26}].

Между тем года шли и приносили те плоды, семена которых давно в них были заложены. Разразилась свирепая война между нами и Турцией и англо-французскими ее союзниками в виду Европы, приготовляющейся к коалиции… Война перешла уже на нашу почву, обложила Севастополь и стучалась в Кронштадт; готовились большие приготовления к отпору, предвиделись новые жертвы и новые напряженные усилия отвечать нуждам минуты без особой надежды на успех. Мы все жили, как бы притаившись, чувствуя инстинктивно, что времена серьезны в высшей степени, и не питая радужных надежд на перемену обстоятельств. Летом 1854 года Тургенев поселился на даче по петергофской дороге, недалеко от О. А. Тургеневой, которая с отцом и теткой жила в самом Петергофе. Общество этой чрезвычайно умной и доброй девушки сделалось для него необходимостью…

Однажды и уже по зиме следующего, 1855 года, зашед к нему на квартиру, я узнал, к великому моему удовольствию, что в задней ее комнате спит приезжий из армии молодой артиллерийский офицер граф Лев Николаевич Толстой. Публике было уже известно это имя, а литераторы превозносили его в один голос. Лев Толстой выслал в «Современник» первый свой рассказ «Детство и отрочество», поразивший всех поэтическим реализмом своим и картиной провинциальной семьи, гордо живущей со своими недостатками и ограниченностью, как явление вполне самостоятельное и непререкаемое[{27}]. Он готовил еще и многое другое. Будучи соседом Толстого по деревне и

движимый своим неугомонным демоном любопытства и участия, Тургенев пригласил его к себе. Но Л. Н. Толстой был очень оригинальный ум, с которым надо было осторожно обращаться. Он искал пояснения всех явлений жизни и всех вопросов совести в себе самом, не зная и не желая знать ни эстетических, ни философских их пояснений, не признавая никаких традиций, ни исторических, ни теоретических, и полагая, что они выдуманы нарочно людьми для самообольщения или для обольщения других. Как курьез воззрение это еще могло поддерживаться при громадном образовании и большой начитанности, но гр. Толстой не гонялся за курьезами. То был сектантский ум по преимуществу, очень логический, когда касалось выводов, но покорявшийся только вдохновенному слову, сказавшемуся, неизвестно как, в глубине его души. Поэтому столь же интересно было следить за его мнением, всегда новым и неожиданным, сколько и за происхождением этого мнения. Нередко встречались у него приговоры, поражавшие своим ультрарадикальным характером. Так, шекспировского короля Лира он считал нелепостью, за неправдоподобие сказки, лежащей в основании трагедии, и в то же время все симпатии его принадлежали пьяному артисту-немцу, которого встретил в публичном доме и сделал героем одной из повестей своих{28}. В Тургеневе он распознал многосторонний ум и наклонность к эффекту – последнее особенно раздражало его, так как искание жизненной правды и простоты и *здравомысленности* существования составляло и тогда идеал в его мыслях. Он находил подтверждение своего мнения о Тургеневе даже в физиологических его особенностях и утверждал, например, что он имеет фразистые ляжки. Вызывающий тон и холодное презрение, которые он выказывал перед Тургеневым даже и тогда, когда тот успел уже отделаться от многих увлечений своей молодости, заставляли ожидать разрыва и катастрофы, которые и явились. Уже в шестидесятых годах, находясь в гостях, в селе Спасском, Толстой сделал презрительное и едкое замечание об опытах воспитания, которым Тургенев подвергает свою дочь, увезенную им за границу, и окончательно вывел из себя терпеливого хозяина, отвечавшего ему грубостью. Последствием было назначение дуэли, не состоявшейся за отказом Толстого. За несколько лет до кончины Тургенева Толстой, вероятно очнувшийся от своих предубеждений против старого друга, ввиду общего уважения, которое тот приобрел, обратился к нему с трогательной просьбой забыть прошлое и восстановить их прежние дружеские отношения, на что Тургенев, пораженный этим. актом мужественного великодушия, отвечал не только\

полной готовностью на сделку, но приехал сам к нему в деревню протянуть руку примирения, которое им обоим делало великую честь{29}.

И пора было. Не говоря уже о том, что странным казалось видеть корифеев русской литературы, так связанных всем своим прошлым, во вражде друг с другом; но Тургенев оставался еще жарким поклонником Толстого во все время ссоры. Он признавал в нем, кроме качеств примерного товарища и честнейшей души, еще человека инициативы, почина, способного выдержать до конца любое предприятие, которому посвятил себя, лишь бы только не пропадала у него вера в достоинство начатого дела. О литературных трудах Толстого и толковать нечего: Тургенев был одними из его панегиристов. Он говорил во всеуслышание, что из всех русских романистов, не исключая и его самого, первое место должно принадлежать графу Л. Н. Толстому за его способность проникать в сущность характеров, исторических событий и целых эпох, какой не обладает ни один из существующих ныне писателей.

Приближалось, однако, время *общественных,* в прямом-смысле слова, романов и для Тургенева, превративших его в политического деятеля. Оно началось с появления повести «Рудин», в 1856 году. Это еще не был тот полный шедевр, каким оказались впоследствии «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Новь», но роман уже заключал в себе данные, которые так блестяще развились с годами. Впечатление, произведенное им, мало уступало тому, какое сопровождало появление «Хоря и Калиныча»; роман может считаться крупным торжеством автора, хотя журналистика отнеслась к нему очень сдержанно. Впервые является тут почти историческое лицо, давно занимавшее как самого автора, так и русское общество, своим смело-отрицательным, пропагандирующим характером, и является как несостоятельная личность в делах общежития, в столкновениях рефлектирующей своей природы с реальным домашним событием. Роман был погребальным венком на гробе всех старых рассказов Тургенева о тех абстрактных русских натурах, устраняющихся и пассирующих перед явлениями, ими же и вызванными на свет, – с тех пор они уже более не производились им. И понятно почему – последний, прощальный венок сплетался из качеств человека, заведомо могущественного по уму и способностям; после этого нечего было прибавлять более. Некоторые органы журналистики, оскорбленные унижением героя, объясняли это унижение негодованием автора на человека, который брал деньги взаймы и не отдавал их, но это было объяснение неверное{30}. Публика поняла повесть иначе и

правильнее. Она увидала в ней разоблачение одного из свойств у передовых людей той эпохи, которая не могла же, в долгом своем течении, не надорвать их силы и не сделать их тем, чем они явились, когда выступили, по своему произволу, на арену действия. Выразителем этого мнения сделался известный О. И. Сенковский. Он написал восторженное письмо к г. Старчевскому о «Рудине», которое тот и поспешил сообщить Тургеневу. В письме Сенковский замечал, что автор обнаружил признаки руководящего пера, указывающего новые дороги, о чем он, Сенковский, имеет право судить, потому что сам был таким руководящим пером, и без *проклятого* (выражение письма) цензора Пейкера, испортившего его карьеру, может статься, и выдержал бы свое призвание. В «Рудине» Сенковский находил множество вещей, не выговоренных романом, но видимых глазу читателя под прозрачными волнами, в которых он движется. Политическое и общественное значение повести открывается во всех ее частях и притом с такой ясностию и вместе с таким приличием, что не допускает ни упрека в утайке, ни обвинения в злостных нападках. Сенковский сулил большую будущность автору повести и был в этом случае не фальшивым пророком, как часто с ним случалось прежде.

Между тем молодость Тургенева уже прошла. Ему предстояло еще около 30 лет обширной деятельности, но тем же ветхим человеком, каким его знали в эпоху появления «Параши», он оставаться не мог. Еще прежде «Рудина» он почувствовал сам роль, которая выпала ему на долю в отечестве, – служить зеркалом, в котором отражаются здоровые и болезненные черты родины; но для этого необходимо было держать зеркало в надлежащей чистоте. Всякое человеческое начинание имеет свой пункт отправления, который и указать можно; только одно действие времени не имеет такого пункта – оно мгновенно обнаруживает во всей полноте и цельности явление, которое готовилось в его недрах долго и невидимо для людского глаза. Нечто подобное такому действию времени случилось и с Тургеневым: только с эпохи появления «Рудина» обнаружилось, что он уже давно работает над собою. Порывы фантазии, жажда говора вокруг его имени, безграничная свобода языка и поступка – все приходило в нем или складывалось на наших глазах в равновесие. Ни одному из опасных элементов своей психической природы он уже не позволял, как бывало прежде, вырваться стремительно наружу и потопить на время в мутной волне своей лучшие качества его ума и сердца. Может быть, это было произведение годов, пережитых Тургеневым; может быть, приобретенный опыт и воля действовали при этом механически,

безотчетно, в силу одного своего тяготения к добру и истине. Как бы то ни было, преобразование Тургенева свершилось без труда и само собой: ему не предстояло никакой работы для выбора новых материалов морали и постройки из них своего созерцания, никаких аскетических элементов для замены старых верований, ничего, что могло бы коверкать его природу и насиловать его способности. Оно произошло просто и натурально, благодаря одному наблюдению за собою и упразднению того потворства дурным инстинктам, которое вошло у него в привычку. Лучшие материалы для реформы лежали с детства в нем самом, лучшие верования жили с ним от рождения; стоило только их высвободить от помех и уз, наложенных невниманием к самому себе. Но зато с тех пор, как воссияла для Тургенева звезда самообразования и самовоспитания, он шел за ней неуклонно в течение 30 лет, поверяя себя каждодневно, и достиг того, что на могиле его сошлось целое поколение со словами умиления и благодарности как к писателю и *человеку*. Не вправе ли были мы сказать, что редкие из людей выказали более выдержки в характере, чем он?..

Дрезден. Декабрь 1883.

Примечания

Настоящие воспоминания задуманы и создавались вскоре после смерти И. С. Тургенева, последовавшей 3 сентября 1883 г. Этим объясняется форма воспоминаний (вступление напоминает некролог) и особенно тон «умиротворения» на тех страницах, где идет речь об общественно-политическом значении творчества Тургенева. В данной работе Анненков почти совсем не касается той острой идейной борьбы в критике за и против произведений молодого Тургенева, которая была ему хорошо известна и о которой он вкратце писал в «Замечательном десятилетии».

В последний раз Анненков виделся с Тургеневым в Париже в начале мая 1883 г. (см. *Стасюлевич,* стр. 415). Смерть писателя застала его в Киеве. По-видимому, в это время и возникла у Анненкова мысль написать воспоминание-очерк о Тургеневе за сорок лет, в течение которых он так близко знал писателя. Анненков разобрал имевшуюся в его распоряжении переписку Тургенева, которая должна была составить фактическую основу воспоминаний, но вскоре убедился, имея в виду себя, что *«серьезной* корреспонденции с русскими друзьями покойник предавался редко. Он гораздо более говорил с ними по душе, чем писал искренно» (*Стасюлевич,* стр. 419).

Вскоре после похорон Тургенева, в октябре 1883 г., проездом в Берлин Анненков виделся в Петербурге с М. Стасюлевичем и договорился о печатании воспоминаний. Однако задача оказалась более трудной, чем предполагалось вначале. 24 октября 1883 г. Анненков уже писал Стасюлевичу: «Переписка Тургенева, разобранная мною еще на месте, напоминает некоторые обстоятельства его жизни – это ее единственная заслуга, – но света на его личность проливает мало… Придется шарить в собственных воспоминаниях и в них искать настоящего ключа к его образу мыслей» (*Стасюлевич,* стр. 419). И естественно, что воспоминания распались на части, а написание их растянулось на ряд лет.

Уже с первых шагов работы над «Молодостью И. С. Тургенева» Анненков испытывал острый недостаток в фактических материалах. Кроме переписки и соответствующих глав из «Замечательного десятилетия», он использовал свои статьи о Тургеневе, в частности «О мысли в произведениях изящной словесности» (1855), привлек для работы библиографическую роспись сочинений Тургенева, появившуюся в ноябрьской книжке «Исторического вестника» за 1883 г., воспоминания Н. В. Берга и Е. М. Гаршина, напечатанные там же,

воспоминания о семье И. С. Тургенева В. Н. Житовой, бывшие у него в рукописи (цитируются) – и все же не избежал множества фактических ошибок.

Тревожил мемуариста и самый характер повествования. Посылая воспоминания в печать, Анненков выражал опасение, не будут ли они приняты за «диффамацию», так как он имел намерение написать о поведении Тургенева в молодости «совершенно откровенно» (*Стасюлевич,* стр. 423, 425).

При жизни автора «Молодость И. С. Тургенева» напечатана однажды в «Вестнике Европы», 1884, № 2. В настоящем издании печатается по тексту «Вестника Европы» с устранением замеченных опечаток и с теми незначительными поправками, которые намеревался сделать сам Анненков. 12 апреля 1884 г. он писал М. Стасюлевичу, что Валерьян Майков «утонул не в Парголове», как у него было сказано, «а близ Ропши. Поправка небольшая, но не знаю, можно ли будет ее сделать. Также следовало бы поместить, как опечатку, франц. слово «point» – вместо «pointe», как следовало бы в том месте, где говорится об эпиграммах Тургенева» (*Стасюлевич,* стр. 429).

notes

Сноски

1

Мэтр! Мы все должны пойти в ученье к вам *(франц.)*

Комментарии

1

В только что изданной переписке Густава Флобера с Ж. Занд («Nouvelle Revue», dec. 1883) очень часто упоминается имя Тургенева; еще в 1866 году Г. Флобер писал: Позавчера и вчера я обедал с Тургеневым. Этот человек обладает таким изобразительным даром, даже в разговоре, что он нарисовал портрет Ж. Занд, облокотившейся на балкон замка м-м Виардо в Розе. Под башней был ров, во рву лодка, и Тургенев, сидя на скамье этой лодки, глядел на вас снизу вверх. Заходящее солнце играло на ваших черных волосах (*франц.*). В другом месте он восклицает: Я говорил вам, что Тургенев нанес мне визит? Как бы вы полюбили его (*франц.*). (*Прим. П.В. Анненкова.*)

2

Анненков встретился с И. С. Тургеневым в конце 1840 г. в Берлине, о чем он писал в заключении гл. XII «Замечательного десятилетия». Но познакомились они значительно позднее, очевидно в 1843 г. в Петербурге, когда Тургенев, сблизившийся к этому времени с Белинским, стал часто бывать у критика, в обществе Некрасова, И. И. Панаева, Н. Н. Тютчева, на встречах по субботам у А. А. Комарова. В конце тридцатых – начале сороковых годов Анненков имел довольно смутное представление о людях, в кругу которых вращался молодой Тургенев за границей (о Н. В. Станкевиче, М. Бакунине, Т. Грановском и др.), и действительно передает здесь лишь «слухи», которые до него могли тогда доходить. В дальнейшем от Белинского и Грановского, от самого Тургенева и наконец из материалов, собранных для издания «Переписки» и составления биографии Н. В. Станкевича, он узнал много нового о жизни и духовных увлечениях Тургенева тех лет, о чем и упоминал в биографическом очерке «Н. В. Станкевич» (1857).

3

Белинский познакомился с Тургеневым в феврале 1843 г. (см. *Белинский,* т. XII, стр. 139), но слышал о нем и знал его произведения, подписываемые «Т. Л.», значительно раньше. См., например, его письмо к В. П. Боткину от начала июля 1842 г. (там же, стр. 111). Через Белинского Тургенев познакомился и с Герценом, но не в 1840 г., как пишет Анненков, а, по-видимому, в начале 1844 г., и не в Петербурге, а в Москве, когда жил там в феврале – апреле этого года. Отзыв Герцена о молодом Тургеневе, который Анненков передает здесь довольно точно, содержится в письме Герцена из Москвы к Кетчеру от 1/13 марта 1844 г.(А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, под ред. Лемке, т. III, стр. 386).

4

Неточно: рецензия Тургенева на упомянутую книгу А. Н. Муравьева появилась в 1836 г. в августовской книжке «Журнала министерства народного просвещения», а «фантастическая драма з пятистопных ямбах» «Стено» была в 1836 г. у П. А. Плетнева лишь на рассмотрении. Напечатаны же были в 1838 г. в «Современнике» стихотворения «Вечер», «К Венере Медицейской».

5

В «Отечественных записках» первой половины сороковых годов за подписью «Т. Л.» были напечатаны «Старый помещик», Нева», «Человек, каких много» и др. И. И. Панаев вспоминал впоследствии: «Тургенев начал свое литературное поприще элегиями и поэмами, которые всем нам тогда очень нравились, не исключая и Белинского» И. И. Панаев, Литературные воспоминания, М. 1950, стр. 250).

6

В первой книге «Современника» под редакцией Некрасова и Панаева (1847) Тургенев напечатал цикл стихов «Деревня»; в письме к Белинскому из Парижа от 26/14 ноября 1847 г. он уже сообщал, увлеченный прозой и драматургией: «Закаюсь писать стихи» (*Тургенев,* т. 12, стр. 45).

7

Поэма «Параша. Рассказ в стихах» живо заинтересовала Белинского, и он не раз говорил о ней и в печати и в письмах.

8

Белинский в статье «Русская литература в 1845 году» писал о поэме Тургенева «Разговор», что она «написана удивительными стихами… исполнена мысли; но вообще в ней слишком заметно влияние Лермонтова…» (*Белинский,* т. IX, стр. 390–391). Стихи и особенно поэмы Тургенева – «Параша», «Разговор», «Помещик» – вызвали «горячую оппозицию» не только московской, но и петербургской ретроградной журналистики. О поэмах Тургенева, в частности о «Разговоре», отрицательно отозвались П. А. Плетнев в «Современнике», К. С. Аксаков – во второй книжке «Москвитянина» за 1845 г., а затем в «Московском сборнике на 1847 год», Сенковский – в «Библиотеке для чтения», С. Шевырев – неоднократно в «Москвитянине» в 1846 и 1848 гг.

9

Нападки ретроградной критики на Тургенева, вопреки мнению Анненкова, не прекратились и с появлением рассказов из «Записок охотника» (см. к примеру озлобленную статью С. Шевырева в первой книжке «Москвитянина» за 1848 г., в которой Тургенев, в ряду других писателей «натуральной школы», объявлялся «копиистом», не имеющим поэтического призвания).

Рассказ «Хорь и Калиныч» появился в первой книжке обновленного «Современника» за 1847 г. в отделе «Смесь». Тургенев писал, П. В. Анненкову 4 декабря 1880 г.: «В начале моей карьеры успех «Хоря и Калиныча» породил «Записки охотника» (И. С. Тургенев, Собр. соч., изд-во «Правда», т. 11, стр. 357).

10

Тургенев определился на службу в середине 1843 г., а в начале 1845 г. берет отпуск, из которого уже не возвращается в министерство. О службе Тургенева см. статью Ю. Г. Оксмана «И. С. Тургенев на службе в министерстве внутренних дел» (Учен. зап. СГУ, т. LVI, стр. 172–183). Официальные документы см. в комментариях к «Сочинениям И. С. Тургенева», т. XII, 1933, стр. 692–697.

11

Рецензия Тургенева на драму С. А. Гедеонова появилась в № 8 «Отечественных записок» за 1846 г. и довольно объективно оценивала это выспренно-романтическое произведение.

12

О кружках того времени Тургенев писал не однажды. В «Гамлете Щигровского уезда» (1849) в уста героя – провинциального Гамлета – Тургенев, в соответствии с логикой этого характера, вложил осуждение кружковых отношений. В «Рудине» же он дал поэтические страницы о кружке Покорского.

13

Цитируются воспоминания В. Н. Житовой, напечатанные Стасюлевичем в «Вестнике Европы», 1884, № 11, по ходатайству Анненкова. Эти воспоминания подтверждают биографическую основу рассказа «Муму».

14

Имеется в виду так называемый «лишний человек», ставший, благодаря Тургеневу, нарицательным именем в пятидесятых – шестидесятых годах. Родовые черты этого типа – духовную раздвоенность, безволие, идейную бесхарактерность, свойственные дворянскому либерализму, – Тургенев обрисовал в «Дневнике лишнего человека», напечатанном в № 4 «Отечественных записок» за 1850 г. Сам писатель считал, что «Дневник» – «хорошая вещь» (Собр. соч., изд-во «Правда», т. 11, стр. 87), однако его друзья, критики-либералы – А. В.Дружинин, П. В. Анненков – отнеслись к «Дневнику» иначе. Дружинин, например, писал в № 5 «Современника» за 1850 г., что эта повесть принадлежит «к самым слабым произведениям автора «Записок охотника» (отд. VI, стр. 50). Анненков же в развернутом обзоре повестей Тургенева «О мысли в произведениях изящной словесности» (перепечатан в отд. II *Воспоминаний и критических очерков* под названием «И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой») вообще не упомянул это произведение.

15

Имеются в виду ходкие тогда эпиграммы Тургенева на Дружинина, Кетчера, Никитенко, Анненкова и др.

16

«Первая любовь» посвящена Анненкову, напечатана в «Библиотеке для чтения», 1860, № 3. Эта повесть особенно дорога была Тургеневу в силу ее автобиографической основы (см. «Воспоминания о Тургеневе» Н. А. Островской в «Тургеневском сборнике», 1915).

17

В сцене, которую описывает здесь Анненков, участвуют: *Григорьев* Аполлон Александрович (1822–1864) – поэт, литературный критик славянофильского направления; *Случевский* Константин Константинович (1837–1904) – поэт, сторонник «чистого» искусства, впоследствии редактор «Всемирной иллюстрации», а затем «Правительственного вестника». Информировал Тургенева об отношении русских студентов в Гейдельберге к «Отцам и детям». Этим и объясняется интересное письмо Тургенева к Случевскому от 14 апреля 1862 г» по поводу романа «Отцы и дети».

18

Речь идет о начинающем тогда литераторе Константине Николаевиче Леонтьеве (1831–1891), с которым Тургенев познакомился в 1851 г. в Москве, заинтересовался его романом «Булавинский завод» и пытался напечатать хотя бы его начало, но не смог по цензурным условиям (см. М. К. Клеман, Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, М. – Л. 1934, стр. 60–62).

19

Цензурное разрешение на отдельное издание «Записок охотника» в двух частях (в этом издании впервые напечатан очерк «Два помещика») было получено 6/18 марта 1852 г уже после ареста Тургенева, книга подверглась обследованию в цензурном ведомстве, а затем в середине августа последовала резолюция Николая I об отстранении от должности цензора В. В. Львова, разрешившего это издание (см. об этой истории в книге Ю. Г. Оксмана «От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева», Саратов, 1959).

20

В письме к Аксаковым от 6/18 июня 1852 г. Тургенев сообщал о своих встречах с историком И. Е. Забелиным: «Я в Москве много говорил с Забелиным, который мне очень понравился; светлый русский ум и живая ясность взгляда. Он возил меня по кремлевским древностям» (*Тургенев,* т. 12, стр. 113).

21

Неточно: Тургенев ездил в Германию в 1842 г.; он был в Париже и путешествовал по Франции вместе с В. П. Боткиным и Н. М. Сатиным в 1845 г.; в 1847 г. он выехал за границу в середине января.

22

Тургенев продолжал участвовать в «Отечественных записках» Краевского и после перехода «Современника» к Некрасову и Панаеву; так, например, в первой книжке этого журнала за 1847 г. напечатаны его повесть «Бреттёр» и рецензия на очередное издание произведений Казака Луганского. На страницах «Отечественных записок» появлялись произведения Тургенева и в дальнейшем.

23

В изданиях «Молодости И. С. Тургенева» в 1909 и 1928 гг. 1846 год, проставленный Анненковым в журнальной публикации, переправлен на 1847. Едва ли это правильно. Из контекста ясно, что Анненков имеет здесь в виду не календарный, а, условно говоря, «литературный» год, то есть период идейно-литературного подъема, отмеченный разновременным появлением тех произведений, которые он называет. Как известно, период этот сменили тяжелые годы правительственной реакции, на что и намекает Анненков в конце абзаца.

Анненков имеет в виду зарисовки Тургеневым революционных событий 1848 г. во Франции – «Наши послали!» (впервые напечатано в 1874 г.), «Человек в серых очках» (впервые появилось в печати в 1880 г.). Анненков был в то время в Париже вместе с Тургеневым, Бакуниным и Герценом. Он хорошо знал о тесном общении Тургенева с русской и международной революционной эмиграцией, но посчитал «целесообразным» и в данном случае представить писателя вне «социального движения».

25

Неточно: Тургенев был уже в России, когда занемогла его мать. Известие о ее безнадежном состоянии он получил в Петербурге в день ее смерти (см. *М. К. Клеман*, Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, М.—Л. 1934, стр. 57).

Здесь и в своей статье о Писемском Анненков несколько преувеличивает «терпимость» Тургенева, И в 1852 и в 1853 гг. в переписке Тургенева встречаются довольно резкие отзывы о произведениях А. Ф. Писемского (см., например, его письмо к Некрасову от 28 октября 1852 г., письмо к Панаеву и Некрасову от 6/18 февраля 1853 г. – *Тургенев,* т. 12, стр. 124, 147).

27

Л. Н. Толстой выслал «Детство» в «Современник» с письмом к редактору журнала 3 июля 1852 г. Произведение было напечатано в № 9 «Современника» за 1852 г. под названием «История моего детства». «Отрочество» же создавалось им с ноября 1852 г. по январь 1854 г. и появилось в № 10 «Современника» за 1854 г. Зимой 1855 г. Л. Н. Толстой приехал из Севастополя в Петербург и жил некоторое время у Тургенева (см. о его приезде «прямо с железной дороги к Тургеневу» в письме Некрасова к Боткину от 24 ноября 1855 г. – *Н. А. Некрасов.* Полн. собр. соч. и писем, т. X, М. 1952, стр. 259).

28

Речь идет о повести Л. Н. Толстого «Альберт», напечатанной в августовской книжке «Современника» за 1858 г. По свидетельству самого Толстого, в основу этой повести он положил «историю» Скрипача Георгия Кизеветтера (см. записи в его дневнике: Полн. собр. соч., т. 47, стр. 109, 117, 121 и др.). Анненков явно субъективен в оценке этой повести.

29

См. более подробно об этом эпизоде в настоящем издании, стр. 465–474. Письмо Л. Н. Толстого к Тургеневу с просьбой «забыть прошлое» написано из Тулы 6 апреля 1878 г.

Полемика в критике вокруг «Рудина» сложнее, чем ее представляет Анненков. Н. Г. Чернышевский в своем замечании по поводу «Рудина», содержащемся в его рецензии на книгу Готорна, – ее и подразумевает Анненков, – имел в первую очередь в виду «благоразумных советников» писателя, которые иногда сбивали его с пути правды при обрисовке революционного типа русской жизни (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. VII, стр. 449). В роли такого «благоразумного советника» не раз выступал и П. В. Анненков.